

>МАГИСТРАЛЬ>



МЭТЬЮ ГРЕГОРИ ЛЬЮИС

Монах



Москва  
2023

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44  
Л91

Перевод с английского *Ирины Гуровой*  
Художественное оформление *Натальи Портяной*

**Льюис, Мэтью Грегори.**  
Л91 Монох / Мэтью Грегори Льюис ; [перевод с английского И. Гуровой]. — Москва : Эксмо, 2023. — 416 с. — (Магистраль. Главный тренд).

ISBN 978-5-04-176897-3

«Монох» — история об искушении, преступлении и наказании, шедевр готики и первый роман ужасов в английской литературе.

Уважаемый всеми монах Амбросио, настоятель монастыря капуцинов в Мадриде, одержим влечением к молодой девушке Антонии.

Послушник монаха, недавно появившийся в монастыре, на самом деле пленительная красавица Матильда, женщина с ужасной тайной, и добродетель Амбросио оказывается под угрозой...

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-176897-3

© Гурова И., перевод на русский язык.  
Наследник, 2023  
© Издание на русском языке, оформление.  
Издательство «Эксмо», 2023

Somnia, terrores magicos, miracula, fagas,  
Nocturnos lemures, portentaque.

*Horatius*<sup>1</sup>

## ПРЕДИСЛОВИЕ

*Подражание Горацию  
(Послание 20, кн. I)*

Никак, тщеславия полна,  
Глядишь ты, Книга, из окна  
На Патерностер знаменитый.  
Известность мнишь там обрести ты,  
Где авторы за славу бьются,  
Но чаще с носом остаются.  
Мечтаешь ты, как в позолоте  
И самом лучшем переплете  
В витрине выставит на свет  
Тебя Стокдейл или Дебретт.

Иди ж, гордынею объята,  
Туда, откуда нет возврата  
Для дерзких неразумных книг!  
Тебя там отругают вмиг,  
Коль все-таки окажут честь  
Не сразу бросить, а прочесть.

---

<sup>1</sup> Магические страхи, чары, сны,  
Ночные призраки и колдуны.

*Гораций*

Суровым критиком избита,  
На пыльной полке позабыта,  
Припомнишь, мучаясь тоской,  
Меня, свой ящик и покой!

Гадателя возьму я роль,  
Свою судьбу узнать изволь!  
Запомни же мои слова:  
Чуть перестанешь быть нова,  
То в темном и сыром углу  
Валяться будешь на полу.  
И будет червь тебя точить.  
А то и в лавку, может быть,  
Твои страницы попадут,  
В них свечи ловко завернут.

Но коль замечена ты будешь,  
Коль интерес к себе пробудишь,  
Глядишь, читатель благосклонный  
Займется и моей персоной.  
Ответь ему, раз слушать рад,  
Что я не беден, не богат,  
Страстей игрушка, тороплив,  
Мал ростом, очень некрасив.  
Немногим нравлюсь я вполне,  
Немногие по сердцу мне.  
Когда люблю иль ненавижу,  
Пределов никаких не вижу.  
Мне неприятных не терплю,  
Тех, кто понравится, люблю.

В суждениях чересчур поспешен,  
Ошибками нередко грешен.  
Не предаю друзей моих,  
Но сам измены жду от них.  
Считать научен нашей эрой  
Я дружбу чистою химерой.  
Безмерно пылок, горд, упрям,  
И не прощаю я врагам.  
А вот за тех, кем я любим,  
Пройду сквозь пламя и сквозь дым,

Коль спросят вдруг без лишних слов:  
«Но возраст автора каков?»  
Ты прямо говори в ответ,  
Что мне сравнялось двадцать лет,  
Когда у рубежа столетий  
Георг сидел на троне Третий.

Что ж, Книга милая, прости!  
Иди! Счастливого пути.

*М.Г.Л.*

*Гаага,  
28 октября 1794 года*

## ПРЕДВАРЕНИЕ

Идею этого романа подсказала история Сантона Барсиса, изложенная в «Гардиан». Легенда об Окровавленной Монахине по-прежнему пользуется верой во многих частях Германии, и мне говорили, что на границе Тюрингии еще можно видеть развалины замка Лауенштейн, ее обиталища. Строфы «Водяного царя» с третьей по двенадцатую — это отрывок из подлинной датской баллады. А «Дурандарте и Белерма» — перевод, оригинал которого можно найти в сборнике старинной испанской поэзии, содержащем также народную песню о Гайферосе и Мелесиндре, упомянутую в «Дон Кихоте».

Итак, я признался во всех случаях плагиата в книге, известных мне самому. Но, полагаю, возможно, еще сыщется много таких, которые сам я пока не заметил.

# ТОМ I

## ГЛАВА I

*Граф Анжело и строг и безупречен,  
Почти не признается он, что в жилах  
Кровь у него течет и что ему  
От голода приятней все же хлеб,  
Чем камень.*

«Мера за меру»<sup>1</sup>

Колокол не звонил еще и пяти минут, а церковь при капуцинском монастыре уже наполнялась прихожанами. Не обольщайтесь мыслью, будто стекались они туда, влекомые благочестием или жадной просвещения. Лишь очень немногими руководили эти чувства, ибо в городе, где суеверие столь всевластно, как в Мадриде, тщетно искать искреннюю набожность. И богомольцев в церкви Капуцинов собрали разные причины, но только не та, которая якобы привела их в храм. Женщины явились показать себя, мужчины — поглазеть на них; некоторые любопытствовали послушать прославленного проповедника, другие не нашли иного способа скоротать время перед театральным представлением; иные поторопились, потому что их заверили, будто в церковь невозможно будет войти, а половина Мадрида поспешила туда в чаянии встретить другую половину. Искренне желали послушать проповедника лишь горстка дряхлых благочестивцев и благочестивиц да десятков его соперников на поприще духовного красноречия, заранее

---

<sup>1</sup> Здесь и далее произведения Шекспира цитируются по Полному собранию сочинений. М.: Искусство, 1960. — *Примеч. пер.*

вознамерившихся разбранить и высмеять его поучения. Что до остальных прихожан, то, останься проповедь произнесенной, они ничуть не огорчились бы, а, весьма вероятно, даже не заметили бы, что лишились ее.

Но как бы то ни было, церковь Капуцинов еще никогда не видела в своих стенах столь многочисленного собрания. Ни единого свободного уголка, ни единого незанятого сиденья — пощады не было дано даже статуям, украшавшим длинные проходы. На крыльях херувимов повисли мальчишки, святой Франциск и святой Марк оба несли на плечах по зрителю, а святая Агата терпела двойную тяжесть. Вот почему две наши новоприбывшие, как ни торопились, войдя в церковь, тщетно искали взглядом свободное местечко.

Однако старшая, ничтоже сумняшеся, продолжала пробираться вперед. Напрасны были раздававшиеся со всех сторон негодующие возгласы, напрасно к ней зывали: «Уверяю вас, сеньора, тут все занято», «Прошу, сеньора, не толкайте меня так сильно!», «Сеньора, здесь невозможно пройти! И как это люди позволяют себе подобное!» — пожилая богомолка упрямо двигалась дальше. Упорство и два могучих локтя помогли ей проложить путь сквозь толпу почти к самой кафедре. Ее спутница в полном молчании робко следовала за ней, пожиная плоды усилий своей проводницы.

— Пресвятая Дева! — разочарованным тоном воскликнула та, оглядываясь по сторонам. — Пресвятая Дева! Какая духота! Какая толпа! Что бы это значило, хотела бы я знать! Пожалуй, нам придется уйти. Ни одного свободного сиденья, и никто как будто не желает уступить нам свое.

Этот прозрачный намек привлек внимание двух кавалеров, которые, занимая два табурета по правую руку от прохода, прислонялись спиной к седьмой колонне от кафедры. Оба были молоды и одеты пышно. Услышав женский голос, зывавший к их учтивости, они прервали

беседу и посмотрели на говорившую. Она откинула покрывало, чтобы яснее рассмотреть внутренность храма. Волосы у нее были рыжие, она косила. Кавалеры отвернулись и возобновили разговор.

— О, конечно! — ответила ее спутница. — О, конечно, Леонелла, вернемся сейчас же домой. Здесь так жарко и душно! А многолюдье меня пугает.

Слова эти были сказаны удивительно мелодичным голосом. Кавалеры вновь прервали беседу, но на этот раз не удовлетворились одним только взглядом, а невольно встали и повернулись к той, что их произнесла.

Стройная изящная фигура вызвала у юношей живейшее желание увидеть лицо говорившей. Но в этом им было отказано: черты ее были скрыты под покрывалом. Однако, пока их владелица пробиралась через толпу, покрывало несколько сбилося в сторону, открыв шею, которая красотой и симметричностью могла бы поспорить с шеей Венеры Медицейской. Она поражала ослепительной белизной и вдвойне пленяла, потому что ее оттеняли золотистые локоны, ниспадавшие до талии. Неизвестная была скорее ниже, чем выше среднего роста, но легкостью и воздушностью сложения напоминала дриаду. Грудь ее была тщательно укрыта покрывалом. Белое платье, стянутое кушаком, позволяло увидеть кончик прелестнейшей ножки. С запястья свисали крупные четки, лицо же пряталось за завесой из плотного черного газа. Такова была та, кому младший из юношей уже предлагал свой табурет, а его товарищ счел необходимым оказать ту же услугу ее пожилой спутнице, которая, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, не замедлила воспользоваться его любезностью и села.

Младшая последовала ее примеру, но в знак признательности только сделала простой и грациозный реверанс. Дон Лоренцо (так звали кавалера, уступившего ей место) встал подле нее. Но прежде он шепнул несколько слов на ухо своему другу, который тотчас попытался отвлечь вни-

мание своей дамы от обворожительного создания, которое она опекала.

— Без сомнения, вы в Мадриде совсем недавно, — сказал дон Лоренцо прекрасной соседке. — Ведь невозможно, чтобы такие чары оставались незамеченными долго. Будь это не первый ваш выход в свет, зависть женщин и преклонение мужчин уже прославили бы вас.

Он умолк в ожидании, но, так как его речь не требовала непременно ответа, красавица не разомкнула уст, и через несколько мгновений он продолжал:

— Я ошибся, предположив, что вы лишь недавно в Мадриде?

Она заколебалась, но наконец голосом столь тихим, что его трудно было расслышать, произнесла:

— Нет, сеньор.

— Вы намереваетесь остаться в столице долгое время?

— Да, сеньор.

— Я почел бы себя счастливым, будь в моей власти сделать ваше пребывание здесь приятнее. Меня в Мадриде знают, и моя семья пользуется некоторым влиянием при дворе. Если в моих силах чем-либо услужить вам, вы не могли бы сделать мне большей чести и большего одолжения, дозволив быть вам полезным. («Уж конечно, — сказал он себе, — ответить на это она одним словом не сумеет и вынуждена будет заговорить со мной!»)

Однако Лоренцо ошибся: она ответила ему лишь легким поклоном.

Теперь он окончательно убедился, что его соседка не слишком словоохотлива, но что было причиной ее молчаливости — гордость, благоразумие, робость или глупость, решить не мог.

Спустя минуту-другую он сказал:

— Несомненно, вы остаетесь под покрывалом потому, что еще не успели узнать наши обычаи. Позвольте, я помогу вам снять его.

И он протянул руку к черному газу, но красавица подняла ладонь, чтобы помешать ему.

— Я никогда не открываю лица на людях, сеньор.

— Но что тут плохого, хотела бы я знать? — перебила ее спутница резким тоном. — Ты ведь видишь, что все дамы и девицы сняли покрывала, без сомнения, из почтения к святому месту, где мы находимся? И я сняла свое, а уж ежели я открываю лицо всем взглядам, у тебя не может быть причин для такой робости! Пресвятая Дева Мария! Сколько жеманства из-за личика. Дитя! Открой его. Поверь мне, никто его у тебя не похитит...

— Милая тетенька, в Мурсии это не в обычае.

— В Мурсии, скажите на милость! Святая Варвара, до каких же пор! Вечно ты мне напоминаешь об этой мерзкой глуши. Если таков мадридский обычай, ничего другого нам знать не надо, а потому я желаю, чтобы ты сейчас же сняла покрывало. Повинуйся мне немедленно, ты знаешь, я не терплю возражений...

Племянница промолчала, но не воспротивилась, когда дон Лоренцо, вооружившись разрешением тетушки, поспешил снять с нее покрывало. Какая ангельская головка предстала его восхищенному взору! И все же она была не столько красивой, сколько обворожительной, пленяя не правильностью черт, а нежностью и прелестью выражения. Взятые по отдельности черты ее не были лишены изъянов, но сочетание их восхищало. Ее кожа, хотя и белоснежная, кое-где была тронута веснушками, глаза не отличались величиной, а ресницы — длинной. Но губы у нее были свежими и алыми, золотистые волосы, перехваченные простой лентой, ниспадали до пояса волнами пышных локонов. Изумительно красивая шея, руки и пальцы отличала безупречная гармоничность, кроткие голубые глаза таили безмятежность небес и искрящийся блеск алмазов. Ей нельзя было дать более пятнадцати лет. Игравшая на ее губах лукавая улыбка

свидетельствовала о живости нрава, которую в эту минуту умеряла застенчивость. Она бросала вокруг робкие взоры и едва встречала взгляд Лоренцо, как тотчас потупляла глаза на четки и, залившись румянцем, начинала их перебирать, но, судя по ее движениям, не замечала того, что делает.

Лоренцо смотрел на нее с восхищенным изумлением, но тетушка сочла нужным извиниться за *mauvaise honte*<sup>1</sup> Антонии:

— Она еще совсем дитя и не знакома со светом и его обычаями. Росла она в Мурсии в старом замке под надзором только своей матушки, а у той, Господи, помилуй ее, ума хватает, разве чтобы ложку с супом мимо рта не пронести. А ведь добрая душа мне сестра и по отцу, и по матери.

— И столь неразумна? — спросил дон Кристоаль с притворным изумлением. — Как странно!

— Правда ваша, сеньор. Не удивительно ли? Однако так оно и есть. Но подумайте, как счастье улыбается некоторым. Молодой, весьма знатный юноша вообразил, будто Эльвира может считать себя красавицей... Ну, считать-то она считала, но вот была ли!.. Да если бы я хоть вполовину так прихорашивалась, как она... Хотя это просто к слову. А сказать я хотела, что молодой вельможа влюбился и женился на ней без ведома своего отца. Союз их сохранялся в тайне три года, но затем о нем прознал старый маркиз и, как можете догадаться, доволен не остался, но поспешил в Кордову, намереваясь схватить Эльвиру и запрятать куда-нибудь, чтобы она и вести о себе подать не могла. Святой Павел! Как он гневался, узнав, что она спаслась от него, воссоединилась с мужем и они отплыли в Индии. Он осыпал нас проклятиями, словно в него вселился Злой Дух. И бросил в темницу нашего отца, такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало, а ког-

---

<sup>1</sup> *Здесь: неловкость (фр.).*

да уехал, то имел жестокость увезти от нас малютку сына моей сестры, которого та, вынужденная к поспешному бегству, взять с собой не могла. Полагаю, бедный крошка терпел от него самое дурное обращение, потому что не прошло и нескольких месяцев, как мы получили известие о его смерти.

— Что за ужасный старик, сеньора!

— О, самый гнусный! И к тому же совершенно лишенный вкуса! Поверите ли, сеньор, когда я пыталась успокоить его, он с проклятием назвал меня ведьмой и пожелал, чтобы моя сестра в наказание графу стала такой же безобразной, как я. Безобразной, подумать только! Я ему очень признательна.

— Какая нелепость! — вскричал дон Кристобаль. — Без сомнения, граф почел бы себя счастливым, если бы ему было дозволено обменять одну сестру на другую.

— Господи помилуй! Сеньор, вы весьма учтивы. Однако я сердечно рада, что граф был иного мнения. Много радости все это принесло Эльвире! Тринадцать долгих лет жарясь и парясь в Индиях, ее супруг умирает, и она возвращается в Испанию, не имея ни дома, чтобы приклонить там главу, ни денег, чтобы купить его. Антония, вот она, была тогда еще крошкой, единственным ее ребенком, оставшимся в живых. Эльвира узнала, что ее свекор снова женился, что графа он не простил и что его вторая жена подарила ему сына, теперь, по слухам, выросшего в весьма достойного юношу. Старый маркиз не пожелал увидеть мою сестру и ее дочь, однако, поставив условие, что больше ему о ней слышать не придется, он назначил ей небольшое содержание и разрешил жить в принадлежащем ему в Мурсии старом замке. Замок этот особенно любил его старший сын, и после бегства того из Испании старый маркиз возненавидел его и оставил ветшать и разрушаться. Моя сестра согласилась, уехала в Мурсию и прожила там до прошлого месяца.

— И что же привело ее теперь в Мадрид? — осведомился дон Лоренцо, который, восхищаясь юной Антонией, с интересом слушал рассказ ее болтливой тетки.

— Увы, сеньор! Ее свекор недавно скончался, и управляющий его мурсийским имением отказался выплачивать ей содержание. И вот в надежде упросить его сына и наследника дать распоряжение, чтобы она продолжала получать эту скудную сумму, моя сестра отправилась в Мадрид. Но, полагаю, она могла бы избавить себя от хлопот. Ведь у вас, знатных молодых людей, всегда находится применение вашим деньгам, и тратить их на старух вы не очень-то склонны. Я посоветовала сестрице послать с прошением Антонию, но она и слышать об этом не желает. Такая упрямая! Ну, пренебрегая моими советами, она себе же хуже делает, — у девочки такое миленькое личико, и, надобно полагать, она многого достигла бы!

— Ах, сеньора, — перебил дон Кристоаль, напуская на себя страстный вид, — если тут достаточно миленького личика, почему же ваша сестрица не обратилась к вам?

— Святой Боже! Любезный сеньор, вы, право, смущаете меня своей галантностью. Но признаюсь, мне слишком хорошо известны опасности, сопряженные с такими поручениями, и я не позволю себе оказаться во власти знатного юноши! Нет-нет, я до сих пор храню безупречной мою добрую славу и всегда умела держать мужчин на почтительном расстоянии.

— В этом, сеньора, у меня нет ни малейших сомнений. Но разрешите спросить, питаете ли вы отвращение к супружеству?

— Ну, это простой вопрос. Не могу не признаться, что достойный кавалер, явись он...

Тут престарелая кокетка хотела бросить на дона Кристоалья нежный и выразительный взгляд, но так как, к несчастью, страдала ужасным косоглазием, взгляд этот упал

на его друга, и Лоренцо, приняв комплимент на свой счет, ответил глубоким поклоном.

— Не могу ли я, — сказал он, — осведомиться об имени маркиза?

— Маркиз де лас Систернас.

— Я близко с ним знаком. Сейчас он не в Мадриде, но его ожидают со дня на день, и если прелестная Антония разрешит мне быть ходатаем за нее, не сомневаюсь, я сумею представить ее просьбу самым убедительным образом.

Антония подняла на него голубые глаза и безмолвно поблагодарила его улыбкой неизъяснимой прелести. Леонелла выразила свою радость куда более бурно и громко. Так как в ее обществе племянница обычно молчала, она считала обязательным говорить за двоих, что не слишком ее затрудняло, ибо запас слов у нее был неисчерпаемый.

— Ах, сеньор! — вскричала она. — Вся наша семья будет вам чрезвычайно обязана! Я принимаю ваше предложение со всей возможной признательностью и приношу вам тысячу благодарностей за ваше великодушное предложение. Антония, дитя, почему ты молчишь? Кавалер говорит тебе тысячи лестных вещей, а ты сидишь, будто статуя, и даже словечка благодарности не проронишь!

— Милая тетушка, я всем сердцем чувствую...

— Фи! Племянница, сколько раз я тебе твердила, что перебивать — верх неучтивости?! Ты когда-нибудь видела, чтобы я позволяла себе подобное? Это в Мурсии себя так ведут! Бог мой! Мне, видно, не удастся научить эту девочку приличным манерам! Но объясните, сеньор, — обратилась она к дону Кристобалу, — почему нынче в церкви такая теснота?

— Неужто вы не знаете, что каждый четверг Амбросио, настоятель монастыря Капуцинов, проповедует в этой церкви? Весь Мадрид гремит похвалами ему. Проповедовал он до сих пор всего трижды, но те, кто его слышал,

пришли в такой восторг, что теперь найти свободное место в этой церкви в четверг не легче, чем в театре, когда дают новую комедию. Слава его не могла не достигнуть ваших ушей...

— Увы, сеньор! Впервые увидеть Мадрид я имела счастье лишь вчера, а в Кордове мы так мало знаем о том, что происходит в мире, что имя Амбросио там не упоминалось ни разу.

— В Мадриде же оно у всех на устах. Он словно заморозил здешних жителей, и сам я, не побывав еще на его проповедях, дивлюсь восторгам, которые он вызывает. Поклонение, каким его равно окружают молодые и старые, мужчины и женщины, поистине беспримерно. Гранды осыпают его подарками, их супруги желают исповедоваться только у него, и в городе его называют не иначе как «святой».

— Без сомнения, сеньор, он благородного происхождения...

— Это до сих пор остается неизвестным. Покойный аббат капуцинского монастыря нашел его у дверей несмышленым младенцем. Все усилия узнать, кто он, остались бесплодными, а ребенок, разумеется, не мог ничего рассказать о своих родителях. Его вырастили и воспитали в монастыре, стен которого он с тех пор не покидал ни разу. С ранних лет в нем проявилась сильнейшая склонность к ученым занятиям и уединению, и, едва достигнув совершеннолетия, он принял монашество. Никто так и не явился назвать его своим или раскрыть тайну его рождения, монахи же, видя, какой почет приносят обители такое объяснение, не устают повторять, что его им даровала Пресвятая Дева. И правду сказать, необычайная строгость его жизни придает правдоподобие их словам. Он достиг тридцати лет, и каждый их час прошел в благочестивых занятиях, полной удаленности от мира и умерщвлении плоти. До последних трех недель, когда его избрали на-

стоятелем обители, он не покидал ее стен, но и теперь он выходит из монастыря лишь по четвергам и не далее этой церкви, куда послушать его стекается весь Мадрид. Знания его, говорят, чрезвычайно глубоки, красноречие на редкость убедительно. За всю свою жизнь он, насколько известно, ни в чем не нарушил устава своего ордена, ни единое пятнышко не грязнит белоснежных его риз, и, по слухам, он так строго блюдет завет целомудрия, что не знает, в чем заключено отличие мужчины от женщины. Поэтому простонародье и почитает его святым.

— Неужто этого достаточно для святости? — спросила Антония. — Но ведь тогда святой должна слыть и я!

— Святая Варвара! — вскричала Леонелла. — Что за вопрос! Фи, дитя, фи! О таких вещах молодым девицам говорить не пристало. Ты даже думать не должна, что на свете существуют мужчины, но полагать всех людей одного пола с тобой?! Посмотрела бы я, как ты вдруг призналась бы в неведении того, что у мужчины нет груди, нет бедер, нет...

К счастью для неосведомленности Антонии, которую нотация тетюшки вот-вот могла просветить, пронесшийся по церкви ропот возвестил о приходе проповедника. Донья Леонелла встала, чтобы получше его рассмотреть, и Антония последовала ее примеру.

Облик монаха был благороден и исполнен властного достоинства. Его отличал высокий рост, а лицо было необыкновенно красивым — орлиный нос, большие темные сверкающие глаза, черные, почти сходящиеся у переносья брови. Лицо было смуглым, но кожа очень чистой. Ученые занятия и долгие бдения придавали его щекам мертвенную бледность. Безмятежность оведала его гладкое, без единой морщины чело, а душевное спокойствие, которым дышали его черты, казалось, свидетельствовало, что человеку этому неведомы ни суетные заботы, ни соблазны. Он смиренно поклонился пастве, однако в его глазах и мане-

рах чудилась суровость, внушавшая всем благоговейный страх, и мало кто мог выдержать его взор — огненный и пронзительный. Таков был Амбросио, настоятель капucinского аббатства, прозванный святым.

Антония глядела на него как зачарованная и, внезапно ощутив в груди доселе ей неведомый приятный трепет, тщетно искала ему объяснения. С нетерпением она ждала начала проповеди, и, когда наконец монах нарушил молчание, звук его голоса словно проник ей в самую душу. Хотя никто другой в церкви не испытывал столь сильного чувства, как юная Антония, тем не менее все слушали его внимательно и растроганно. Даже те, кому религиозный жар был чужд, не оставались равнодушны к красноречию Амбросио. Говоря, он полностью подчинял их себе, и в переполненной церкви царила глубокая тишина. Даже Лоренцо не устоял перед этим обаянием и, забыв про сидящую рядом Антонию, сосредоточился на словах проповедника.

Жарким, простым и ясным языком монах превозносил блага веры. Некоторые сложные места Святого Писания он толковал с неотразимой убедительностью. Когда он обличал пороки человеческие и обрисовывал кары, ожидающие за них в мире ином, голос его, низкий и звучный, внушал ужас, как грозные раскаты бури. Всяк вспоминал свои прегрешения и содрогался, ожидая удара грома, который сокрушит его и разверзнет у его ног бездну вечной гибели.

Но когда Амбросио, оставив эту тему, заговорил о сладости чистой совести, о вечном блаженстве, уделе душ, не запятнанных грехом, о награде, ожидающей такую душу в непроходящей благодати и блеске, его слушатели ощущали, как к ним возвращаются их упования. Они с надеждой поручали себя милосердию своего Судии, с восторгом впивали утешительные слова проповедника и с гармоничными звуками его голоса переносились в те счастливые

сферы, которые он живописал их воображению столь яркими и сверкающими красками.

Длилась проповедь довольно долго, но слушателям, когда она кончилась, показалось, что произошло это слишком скоро. Хотя монах умолк, в церкви продолжала царить благоговейная тишина. Но мало-помалу очарование рассеялось, и со всех сторон послышались восторженные восклицания. Едва Амбросио спустился с кафедры, как слушатели окружили его, осыпая благословениями, бросаясь к его ногам и целуя край его одеяния. Медленным шагом, благочестиво скрестив руки на груди, он направился к двери, ведущей в часовню аббатства, где его ожидала монастырская братия. Он поднялся по ступеням, а затем обернулся к своей пастве и произнес несколько слов благодарности и назидания. В этот миг большие янтарные четки выскользнули из его пальцев и упали в окружающую толпу. Их тотчас схватили и разделили между собой по шарикку. И те, кому достались янтарные бусины, клялись хранить их, как святую реликвию. Принадлежи четки самому трижды блаженному святому Франциску, спор из-за них не мог бы стать более жарким. Аббат, улыбнувшись их рвению, еще благословил мирян и покинул церковь с лицом, исполненным смирения. Но было ли исполнено смирением его сердце?

Глаза Антонии провожали его с печалью, и, едва дверь за ним затворилась, ей почудилось, что она утратила нечто, без чего счастье невозможно. По ее щеке скатилась безмолвная слеза.

«Он чужд миру! — сказала она себе. — Наверно, я никогда больше его не увижу!»

Она смахнула слезы с глаз, и Лоренцо заметил это.

— Вам понравился наш проповедник? — спросил он. — Или вам кажется, что Мадрид преувеличивает его достоинства?

Сердце Антонии переполняло такой восторг перед монахом, что она с живостью воспользовалась возможностью поговорить о нем. К тому же Лоренцо более не казался ей совсем незнакомым человеком, и сильная природная застенчивость уже не так ее смущала.

— Ах! Он далеко превзошел все мои ожидания, — ответила она. — До этой минуты я ничего не знала о власти красноречия. Но едва он заговорил, как его голос преисполнил меня таким интересом, таким благоговением и даже могу сказать — такой любовью к нему, что я сама удивляюсь силе моих чувств.

Лоренцо улыбнулся бурности ее выражений.

— Вы молоды и лишь вступаете в жизнь, — сказал он. — Мир еще внове вашему сердцу, оно полно жара и чувствительности, а потому жадно воспринимает новые впечатления. Вы бесхитростны, не способны подозревать в обмане других и, взирая на мир правдивыми и невинными глазами, воображаете, будто все вокруг вас заслуживает вашего доверия и уважения. Как жаль, что эти радостные грезы скоро рассеются! Как жаль, что скоро вы неизбежно убедитесь в низости людской и будете беречься ближних, будто злейших врагов!

— Увы, сеньор! — отвечала Антония. — Злосчастия моих родителей уже открыли мне много печальных примеров людского вероломства! Однако же сейчас мои чувства не могли меня обмануть.

— Признаю, что на этот раз так оно и есть. Амбросио заслуженно называют безупречным, а к тому же человеку, всю жизнь проводящему в стенах монастыря, не выпадает случая запятнать себя грехом, даже если у него и были бы такие наклонности. Но теперь, когда новые обязанности вынуждают его соприкасаться с миром сует и подвергаться соблазнам, именно теперь ему и надлежит явить весь блеск своих добродетелей. Испытание очень опасное: ведь он как раз достиг возраста, когда страсти обретают особен-

ную силу, необузданность и власть. Слава его святости делает его желанной добычей искушения. Новизна придает особую заманчивость наслаждениям, и даже достоинства, которыми его наделила Природа, могут способствовать его гибели, открывая легкие пути достижения цели. Мало кто выходит победителем из подобной схватки.

— О! Но, несомненно, Амбросио будет одним из немногих!

— В этом я и сам не сомневаюсь. По общим отзывам, он исключение из рода человеческого, и Зависть тщетно пыталась бы найти в его натуре хоть малый изъян.

— Сеньор, ваше заверение очень меня радует. Оно подтверждает, что в моем расположении к нему нет ничего дурного, а вы и представить себе не можете, как больно мне было бы подавить в себе это чувство. О дражайшая тетушка, попросите матушку, чтобы она избрала его нашим духовником.

— Просить ее? — сказала Леонелла. — Вот уж нет! Мне этот Амбросио совсем не понравился. У него такой суровый вид, что он вверг меня в дрожь. Стань он моим духовником, я и в половине своих грешков побоялась бы ему признаться, и что тогда со мной случилось бы? Более строгого человека я в жизни не видывала и, надеюсь, больше никогда не увижу! Описывая Дьявола, — Господи, спаси нас и помилуй! — он напугал меня до смерти, а когда упоминал про грешников, так и казалось, что он их загрызть готов!

— Вы правы, сеньора, — согласился дон Кристоаль. — Избыток строгости — вот единственное, что вменяют в вину Амбросио. Сам свободный от людских слабостей, он недостаточно снисходителен к ним в других, и, хотя решения его справедливы и беспристрастны, он, управляя монастырем совсем недавно, уже успел показать свою непреклонность. Однако церковь почти опустела, так не разрешите ли проводить вас домой?

— Боже мой, сеньор! — вскричала Леонелла с напускным смущением. — Ни за что на свете! Если я вернусь домой в сопровождении столь галантного кавалера, моя щепетильная сестрица будет час мне выговаривать, а потом поминать про это что ни день. К тому же я предпочла бы, чтобы вы так не торопились сделать предложение...

— Предложение, сеньора? Уверяю вас...

— Ах, сеньор, я верю в искренность вашего нетерпения. Но право же, мне нужна небольшая отсрочка. Ведь было бы неделикатно, если бы я приняла вашу руку так вдруг...

— Мою руку? Клянусь жизнью...

— О дражайший сеньор, не настаивайте, если любите меня! Ваше послушание я почту за доказательство вашей страсти. Я дам вам знать завтра, а пока прощайте. Но не могу ли я, любезные кавалеры, узнать ваши имена?

— Мой друг, — ответил Лоренцо, — граф д'Оссорио, а я — Лоренцо де Медина.

— Достаточно. Ну, дон Лоренцо, я передам сестрице ваше любезное предложение и сообщу вам ее ответ со всей поспешностью. Куда я могу его послать?

— Меня всегда можно найти во дворце Медина.

— Не замедлю послать вам весточку. Прощайте, кавалеры. Сеньор граф, молю вас умерить излишний пыл вашей страсти. Но в доказательство, что вы не навлекли на себя мое неудовольствие, и не желая, чтобы вы впали в отчаяние, примите этот знак моей благосклонности и иногда вспоминайте о вашей отсутствующей Леонелле.

С этими словами она протянула тощую морщинистую руку, которую ее предполагаемый обожатель поцеловал с такой видимой неохотой и неловкостью, что Лоренцо с трудом сдержал смех. Затем Леонелла поспешила вон из церкви, прелестная Антония молча последовала за ней, но в дверях невольно обернулась и обратила взор на Лоренцо. Он поклонился, прощаясь с ней, она ответила реверансом и торопливо удалилась.

— Итак, Лоренцо, — сказал дон Кристобаль, едва они остались одни, — ты поспособствовал мне завязать чудесную интрижку! Заметив твой интерес к Антонии, я услужливо отпустил несколько пустых комплиментов тетке, и не прошло и часа, а я уже попал в женихи! Как ты вознаградишь меня за столь тяжкие страдания ради тебя? Чем отплатишь за поцелуй, который я запечатлел на костлявой лапе старой ведьмы? О дьявол! Она оставила на моих губах такой смрад, что от меня месяц будет разить чесноком. На Прадо меня примут за сбежавший оmlет или перезрелую луковицу!

— Признаю, мой бедный граф, — ответил Лоренцо, — твоя услуга была сопряжена с опасностью. Однако я далек от мысли, что опасность эта так уж велика, и, вероятно, буду просить тебя продлить свое ухаживание.

— Из этой просьбы я заключаю, что малютка Антония произвела на тебя впечатление.

— Не могу выразить тебе, как я ею очарован. С тех пор как скончался отец, мой дядя герцог де Медина не раз изъявлял желание увидеть меня женатым. До сих пор я пропускал его намеки мимо ушей и делал вид, что не понимаю их. Но после того, что я увидел нынче вечером...

— Ну? Так что же ты увидел нынче вечером? Право, дон Лоренцо, не обезумел же ты настолько, чтобы возмечтать о браке с внучкой «такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало»?

— Ты забываешь, что она, кроме того, внучка покойного маркиза де лас Систернаса. Но, не вступая в спор о благородном рождении и титулах, уверяю тебя, что я никогда не видел девушки пленительнее Антонии.

— Вполне возможно. Но ведь жениться на ней ты не собираешься?

— А почему нет, милый граф? Богатства у меня хватит на нас обоих, и тебе известно, что мой дядя чужд подобных предрассудков. А насколько я знаю Раймонда де лас

Систернаса, он охотно признает Антонию своей племянницей. Следовательно, ее происхождение не препятствует мне предложить ей свою руку. И я был бы злодеем, если бы помышлял о ней иначе, чем как о своей жене. Она же, мне кажется, поистине щедро наделена всеми качествами, необходимыми, чтобы составить мое счастье в супружестве. Юная, прелестная, кроткая, разумная...

— Разумная? Но ведь она не проронила ничего, кроме «да» и «нет».

— Не спорю, она, правда, сказала немногим больше... Зато «да» и «нет» она произносила всегда к месту.

— Неужели? О, я ваш покорнейший слуга! Довод истинно влюбленного, и я не смею продолжать диспут со столь искусным казуистом. А не отправиться ли нам на комедию?

— Это не в моей власти. Я приехал в Мадрид лишь вчера вечером, и у меня еще не было случая увидеться с сестрой. Ты знаешь, ее монастырь находится на этой улице, и я направлялся к ней, когда толпа у входа в эту церковь возбудила во мне любопытство и желание узнать, почему она тут собралась. Но теперь я продолжу путь и, вероятно, проведу вечер с сестрой у решетки в приемной.

— Твоя сестра в монастыре? Ах да! Я было запомнил. И как поживает донья Агнеса? Я поражен, дон Лоренцо, как ты мог даже подумать о том, чтобы замуровать столь очаровательную девицу в стенах святой обители!

— Я, дон Кристоаль? Как мог ты заподозрить меня в подобном варварстве? Тебе известно, что она постриглась по собственному желанию, ведомы тебе и причины, подвигшие ее уйти от мира. Я употреблял все средства, бывшие в моей власти, чтобы она отступила от своего решения, но тщетно! И я лишился сестры!

— Счастливчик! По-моему, Лоренцо, благодаря этой потере ты многое приобрел. Если я не ошибаюсь, донья Агнесе в приданое предназначались десять тысяч писто-

лей и половина их отошла вашей милости! Клянусь святым Яго! Будь у меня пятьдесят сестер в таком же положении, я без грусти согласился бы лишиться их всех таким манером...

— Как, граф! — гневно перебил Лоренцо. — Вы полагаете, что я был настолько низок и содействовал пострижению моей сестры? Вы полагаете, что подлое желание завладеть ее деньгами могло...

— Превосходно! Смелее, дон Лоренцо! Как он пылает яростью! Дай бог, чтобы Антония смягчила этот бешеный нрав, не то и месяца не пройдет, как мы перережем друг другу глотки! Однако, дабы избежать подобного бедствия сейчас, я удаляюсь и оставляю поле брани за вами. Прощайте, рыцарь вулкана Этны! Умерьте вашу вспыльчивость и помните, что всякий раз, когда понадобится строить куры известной вам старой ведьме, я к вашим услугам!

С этими словами он бросился вон из церкви.

— Вертопрах! — пробормотал Лоренцо. — Как жаль, что при столь превосходном сердце у него нет ни капли здравого смысла!

Уже наступал вечер, но светильники еще не были зажжены, а слабые лучи восходящей луны почти не проникали в готический сумрак церкви. Лоренцо не находил в себе силы уйти оттуда. Холод, наполнивший его грудь после ухода Антонии и при воспоминании о жребии сестры, который дон Кристобаль заставил его столь живо себе представить, породил у него в душе меланхолию, с избытком гармонировавшую с окружавшим его соборным мраком. Он все еще прислонялся к колонне седьмой от кафедры. По опустевшим приделам веяла прохлада, лунные лучи лились в церковь сквозь цветные стекла, одевавшая своды и массивные колонны узорами, слагавшимися из тысячи различных красок и оттенков. Вокруг царил глубокая тишина, нарушаемая порой лишь отдаленным стуком дверей где-то в монастыре за стеной.

Безмолвие часа и уединенность места усугубили меланхолию Лоренцо. Он опустился на ближайшую скамью и предался игре воображения. Он думал о брачном союзе с Антонией, он думал о препятствиях, которые может встретить на пути осуществления своего желания, и тысяча видений представала его мысленному взору, правда, печальных, но и сладостных. Незаметно он погрузился в дремоту, и владевшая им тихая грусть продолжала оказывать влияние на сонные грезы.

Он и во сне мнил себя в церкви Капуцинов, но уже не темной и не пустой. Со сводов лили яркие лучи бесчисленные серебряные светильники. Согласное пение невидимого хора сливалось с мощными звуками органа. Аналой был словно украшен для торжественного пиршества, вокруг собралось блистательное общество, а совсем близко стояла Антония в белом наряде невесты, чаруя румянцем целомудренной стыдливости.

С надеждой и боязнью взирал Лоренцо на это зрелище. Внезапно дверь, ведущая внутрь аббатства, распахнулась, и он увидел, как оттуда во главе вереницы монахов выходит проповедник, которому он недавно внимал с таким восхищением.

— Где жених? — спросил воображаемый настоятель.

Антония словно обвела церковь тревожным взглядом. Лоренцо невольно вышел из своего укромого уголка. Она увидела его, и ее ланиты одела краска радости. Пленительным жестом она поманила его, и он не послушался, но поспешил к ней и бросился к ее ногам.

Она отступила, а потом посмотрела на него с неизъяснимым восторгом.

— Да! — вскричала она. — Мой жених! Мой суженый!

С этими словами она сделала движение, чтобы пасть в его объятия. Но прежде чем он успел прижать ее к груди, между ними возник Некто. Рост его был гигантским, лицо темным, глаза ужасали свирепостью, уста изрыгали

пламя, а на челе у него было начертано: «Гордыня! Любострасть! Бесчеловечность!»

Антония испустила вопль. Чудовище схватило ее и, прыгнув с ней на аналой, принялось терзать ее гнусными ласками. Тщетно пыталась она вырваться из его рук. Лоренцо бросился к ней на помощь, но в тот же миг загрохотал гром. Храм начал разваливаться, монахи с криками ужаса обратились в бегство, светильники погасли, аналой провалился сквозь плиты пола, и в них разверзлась пламенеющая бездна. С пронзительным и жутким воем чудовище рухнуло в пропасть, стремясь увлечь с собой Антонию. Но тщетно. Со сверхъестественной силой она вырвалась из гнусных объятий, но ее белое одеяние осталось у него в лапах. И тотчас два сверкающих крыла развернулись за ее плечами. Она устремилась ввысь, обратив к Лоренцо такие слова:

— Друг! Мы встретимся в горнем мире!

В тот же миг крыша церкви раскрылась, под сводами зазвучали дивные голоса и Антония вознеслась навстречу такому всеобъемлющему сиянию, что Лоренцо был ослеплен. Глаза его перестали видеть, и он упал ничком на пол.

Пробудившись, Лоренцо обнаружил, что лежит на каменном полу церкви. Теперь она была освещена, и до него донеслись отдаленные звуки духовных песнопений. Несколько минут он не мог поверить, что все случившееся ему только привиделось, такое сильное впечатление произвел на него этот сон. Затем к нему вернулась ясность мысли, и он понял свое возбуждение — светильники были зажжены, пока он спал, а слышал он музыку и пение монахов, служащих вечерню в монастырской часовне.

Лоренцо встал, намереваясь направиться в монастырь сестры, но все еще продолжал раздумывать над своим сном. Он уже приблизился к двери, как вдруг его внимание привлекла тень, скользящая по стене напротив. Он с любопытством оглянулся и вскоре различил заку-

танного в плащ мужчину, который оглядывался, словно опасаясь, не следят ли за ним. Любопытство свойственно почти всем людям. Незнакомец что-то скрывал, и потому Лоренцо загорелся желанием узнать, что привело его в церковь.

Наш герой понимал, что не имеет права подсматривать за неизвестным кавалером. «Ухожу!» — сказал себе Лоренцо. И остался стоять, где стоял.

Тень колонны надежно скрывала его от знакомого, который продолжал осторожно приближаться. Затем он вынул из-под плаща письмо и торопливо поместил его под колоссальной статуей святого Франциска, после чего быстро отступил в отдаленный придел и спрятался там.

«Ах, так! — сказал Лоренцо мысленно. — Просто глупая любовная интрижка. Что же, пожалуй, я уйду, ведь помочь я тут ничем не могу!»

Правду сказать, до этого мига ему и в голову не приходило, что он может чем-то помочь, но ему хотелось оправдаться перед собой, придумав причину, объяснявшую, что заставило его задержаться. Тут он второй раз направился к двери и без помех вышел. Однако судьба сулила ему вновь вернуться в церковь.

Он спускался по ступеням, как вдруг его толкнул какой-то избежавший по ним кавалер, и они оба еле удержались на ногах. Лоренцо схватился за шпагу.

— Сеньор! — вскричал он. — Что означает ваша грубость?

— Ха! Медина, это ты? — ответил тот, и Лоренцо тотчас узнал голос донна Кристобая. — Поистине ты самый счастливый смертный во вселенной, что не покинул церкви до моего возвращения. Внутрь, внутрь, мой милый! Они вот-вот будут здесь.

— Кто будет здесь?

— Старая насадка со всеми своими прелестными цыпочками! Внутрь, говорят же тебе, и тогда ты все узнаешь.

Лоренцо следом за ним вернулся в церковь, и они укрылись за статуей святого Франциска.

— Ну а теперь, — сказал наш герой, — могу ли я позволить себе смелость спросить, отчего такая спешка и восторги?

— О Лоренцо! Мы увидим такое бесподобное зрелище! Сюда грядут настоятельница обители Святой Клары и все ее монашенки! Узнай, что благочестивый отец Амбросио (да воздаст ему за то Господь!) не покидает своего монастыря ни для кого и ни для чего, а так как всякая приличная обитель только его хочет видеть своим исповедником, монахиням остается лишь приходить к нему в аббатство. Ведь если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. А настоятельница монастыря Святой Клары, дабы вернее избежать нечистых взглядов вроде твоих или твоего покорного слуги, водит своих овечек исповедоваться в вечернем сумраке. В часовню аббатства они войдут вон через ту дверь, закрытую для мирян. Привратница ее монастыря, весьма достойная старушка и моя добрая приятельница, только что заверила меня, что они будут тут через минуту-другую. Так вот, плутишка, мы сейчас увидим самые хорошенькие личики в Мадриде!

— Нет, Кристобаль! Мы их не увидим. Монахини всегда ходят под покрывалом.

— Ничего подобного! Ты ошибаешься: входя во храм, они снимают покрывала в знак уважения к его святому патрону. Но чу! Они приближаются. Молчи, молчи! Смотри и убедись!

«Отлично! — сказал себе Лоренцо. — Быть может, я открою, кому предназначил свои клятвы таинственный незнакомец в том приделе».

Едва дон Кристобаль умолк, как в дверь вошла настоятельница монастыря Святой Клары во главе длинной вереницы монахинь. Каждая, переступив порог, снимала покрывало. Проходя мимо статуи святого Франциска,

патрона этой церкви, настоятельница сложила руки на груди и низко перед ней склонилась. Монахини одна за другой повторяли ее поклон и шли дальше, а любопытство Лоренцо все еще оставалось неудовлетворенным. Он уже начинал отчаиваться, когда, склоняясь перед святым Франциском, одна из монахинь уронила четки и нагнулась их поднять. На ее лицо упал свет, и в тот же миг она ловко извлекла письмо из-под статуи, спрятала его на груди и поспешила вернуться на свое место в процессии.

— Ха! — тихим шепотом сказал Кристобаль. — Интрижка, не иначе!

— Агнеса, клянусь Небом! — воскликнул Лоренцо.

— Как! Твоя сестра? Дьявол! Полагаю, кому-то придется поплатиться за то, что мы подсмотрели тут.

— Да. И поплатиться немедленно! — ответил разгневанный брат.

Благочестивая процессия уже вошла в аббатство, и внутренняя дверь закрылась. Неизвестный тотчас вышел из своего тайного убежища и поспешил к выходу. Но тут на пути у него встал Медина. Неизвестный отступил и надвинул шляпу на глаза.

— Не пытайся укрыться от меня! — вскричал Лоренцо. — Я узнаю, кто ты такой и что было в этом письме!

— В каком письме? — повторил неизвестный. — И по какому праву вы задаете этот вопрос?

— По законнейшему. Но не тебе задавать мне вопросы. Либо подробно объясни то, что я хочу узнать, либо пусть мне ответит твоя шпага.

— Второй ответ будет короче, — воскликнул незнакомец, обнажая шпагу. — Я готов, сеньор bravo! Начнем.

Пылая гневом, Лоренцо сделал выпад, и противники успели обменяться несколькими ударами, прежде чем Кристобаль, не в пример им сохранивший благоразумие, успел встать между ними.

— Остановитесь! Остановись, Медина! — вскричал он. — Вспомни кару за пролитие крови в освященном месте!

Неизвестный тотчас опустил шпагу.

— Медина? — воскликнул он. — Великий Боже, возможно ли это? Лоренцо, неужели ты забыл Раймонда де лас Систернаса?

Изумление Лоренцо возрастало с каждой секундой. Раймонд шагнул к нему, но он с подозрением во взоре отнял руку, которую тот хотел взять.

— Вы здесь, маркиз? Что все это означает? Вы ведете тайную переписку с моей сестрой, чье сердце...

— Всегда было и остается моим. Но тут не место для объяснений. Проводи меня в мой дом, и узнаешь все. Кто тут с тобой?

— Тот, кого, сдастся мне, вы видели и раньше, — ответил дон Кристобаль. — Хотя навряд ли в храме Божьем.

— Граф д'Оссорио?

— Он самый, маркиз.

— Я готов открыть мою тайну и вам, ибо не сомневаюсь, что могу положиться на вашу скромность.

— Значит, вы более высокого мнения обо мне, чем я сам, и потому не стану злоупотреблять вашим доверием. Сейчас вы пойдете своей дорогой, я своей, однако, маркиз, где вас можно найти?

— Как обычно, во дворце де лас Систернас. Но помните, я здесь инкогнито, и, пожелав увидеть меня, вам следует спросить Альфонсо д'Альвараду.

— Отлично, отлично! Прощайте, кавалеры, — сказал дон Кристобаль и тотчас удалился.

— Вы, маркиз? — с удивлением произнес Лоренцо. — Вы — Альфонсо д'Альварада?

— Да, так, Лоренцо. Но раз твоя сестра еще не поведала тебе мою историю, ты услышишь много такого, что тебя поразит. А потому не мешкай, последуй со мной в мой дом.

В церковь тем временем вошел привратник, чтобы запереть ее на ночь, и молодые люди, торопливо ее покинув, поспешили во дворец де лас Систернас.

— Ну, что ты думаешь, Антония, о наших ухажерах? — осведомилась тетушка, едва они вышли из церкви. — Дон Лоренцо кажется весьма обязательным молодым человеком, и он так смотрел на тебя! Никто не знает, к чему это может привести. А что до дона Кристобая, поверь мне, он истинный феникс галантности! Такой любезный, такой учтивый! Такой чувствительный и пылкий! Ну-ну! Если мужчине и удастся понудить меня к нарушению клятвы, то лишь этому дону Кристобалу. Видишь, племянница, все оборачивается точно, как я тебе предрекала. Я знала, что стоит мне показаться в Мадриде, и меня сразу толпой окружают воздыхатели. Когда я сняла покрывало, Антония, ты видела, как поражен был граф? А когда я протянула ему руку, ты заметила, каким страстным был его поцелуй? Если мне когда-либо доводилось видеть истинную любовь, то это она просияла в чертах дона Кристобая!

Антония, надо сказать, заметила, с каким выражением дон Кристобаль приложил губы к указанной руке, и впечатление у нее сложилось несколько иное, чем у тетушки, но ей достало благоразумия промолчать. Это единственный известный случай, когда женщина промолчала при таких обстоятельствах, а потому он и был удостоен упоминания здесь.

Старая дева продолжала разглагольствовать в том же духе, пока они не пришли на улицу, где сняли комнаты, но собравшаяся перед их домом толпа воспрепятствовала им войти в дверь. Перейдя на другую сторону улицы, они попытались выяснить причину сборища. Вскоре толпа образовала круг, и в середине его Антония узрела женщину необыкновенного роста, которая вертелась в странной пляске, необыкновенным образом размахивая руками. Платье

ее было сшито из разноцветных шелковых и полотняных лоскутов чрезвычайно пестро, но не без вкуса. На голове у нее было намотано подобие тюрбана, украшенного виноградными листьями и полевыми цветами. Она выглядела необыкновенно загорелой, и цвет ее кожи был оливково-смуглым. Глаза пылали таинственным огнем, а в руке она держала длинный черный жезл, которым порой чертила на земле разнообразные непонятные фигуры, а затем опять принималась кружиться между ними, словно охваченная безумием. Внезапно она прервала пляску, трижды с неопишуемой быстротой повернулась на одной ноге, а затем после краткого молчания запела следующую балладу:

### ПЕСНЬ ЦЫГАНКИ

Позолотите ручку мне вы,  
 Мудрей меня нет на земле.  
 Спешите суженого, девы,  
 Увидеть в колдовском стекле.

По Книге Судеб я читаю,  
 Что было и что будет впредь,  
 Небес предначертанья знаю,  
 Грядущее дано мне зреть.

Луну средь черных туч веду я  
 И ветры шлю вперед, назад.  
 Дракона усыпить могу я,  
 Что сторожит бесценный клад.

Могучие творю заклятья,  
 Чтоб зло и беды отвратить.  
 На шабаш ведьм могу слетать я  
 И на змею ногой ступить.

Купите зелья! Все в их власти!  
 Вот это мужа в дом вернет,  
 А это пламя пылкой страсти  
 В холодном юноше зажжет.

Заблудшей деве мазь поможет —  
 Вернет ее потерю ей,  
 А притиранье сделать может  
 Лицо румяней и белей.

Узнайте, много вам иль мало  
 Судьба сулит. Пройдут года.  
 «Цыганка правду нагадала!» —  
 Вот что вы скажете тогда.

— Милая тетушка, — спросила Антония, когда необыкновенная женщина умолкла, — это помешанная?

— Помешанная? Вот уж нет, дитя. Но злая и опасная. Это цыганка, бродяжка! Скитается по стране, городит небылицы и прикарманивает денежки тех, кто честно их заработал. Покончить бы с этими тварями! Будь я королем Испании, все они, кого через три недели нашли бы в моих владениях, все сгорели бы заживо.

Слова эти были произнесены столь громко, что достигли ушей цыганки, и она тотчас прошла сквозь толпу к тетке и племяннице.

Трижды поклонившись им по восточному обычаю, она обратилась к Антонии:

### ЦЫГАНКА

Ах, красавица девица,  
 Не тебе меня страшиться.  
 Без боязни руку дай  
 И судьбу свою узнай!

— Дражайшая тетушка! — сказала Антония. — Побалуйте меня, разрешите, пусть она мне погадает.

— Вздор, дитя! Она наплетет тебе множество небылиц.

— И пусть. Позвольте мне послушать, что она придумает сказать. Ну, пожалуйста, милая тетушка. Позвольте, умоляю вас!

— Что же, Антония, будь по-твоему, если уж тебе так этого хочется... Эй, добрая женщина, ты погадаешь нам обеим. Вот тебе деньги, а теперь предскажи мне мою судьбу.

С этими словами она сняла перчатку и протянула цыганке руку. Та некоторое время смотрела на ее ладонь, а потом сказала:

### ЦЫГАНКА

Судьбу? Не стану, ваша милость!  
 Она давно уже свершилась.  
 Но ваши я взяла монеты,  
 Примите ж вы мои советы.  
 Тщеславьем детским, ей-же-ей,  
 Вы удручаете друзей.  
 Кокетничать в такие лета —  
 Безумья верная примета.  
 Когда красотке пятьдесят,  
 Когда глаза ее косят,  
 То трудно прелести такой  
 Зажечь пожар в груди мужской.  
 Белила и румяна прочь —  
 Пристойней нищему помочь,  
 Чем тратить деньги в заблужденье  
 На сладострастья ухищренье.  
 Не о поклонниках с утра —  
 О Боге думать вам пора.  
 И не гадать о женихах,  
 Но каяться в былых грехах.  
 Ведь Времени коса вот-вот  
 Волос остатки прочь смахнет.

Речь цыганки вызывала в толпе взрывы хохота. «Пятьдесят», «глаза косят», «остатки волос», «белила и румяна» и прочее передавалось из уст в уста. Леонелла чуть не задохнулась от бешенства и осыпала свою злокозненную советчицу жесточайшими упреками. Смуглая пророчица некоторое время слушала ее с презрительной улыбкой, затем резко ей ответила и повернулась к Антонии.

ЦЫГАНКА

Уймись, госпожа моя!  
Лишь то, что есть, сказала я.  
Теперь, красавица, тебе  
Я о твоей скажу судьбе.

Как и Леонелла, Антония сняла перчатку и протянула цыганке лилейную ручку, а та долго вглядывалась в линии на ладони с изумлением и жалостью и произнесла затем следующее предсказание:

ЦЫГАНКА

Боже, линия ужасна!  
Ты добра, чиста, прекрасна.  
Счастьем стать могла супруга,  
И любили б вы друг друга.  
Но увы! Не будет так:  
Вот черта — зловещий знак!  
Сластолюбец и с ним Ад  
Гибелью тебе грозят,  
Ты снести не сможешь горя  
И с землей простишься вскоре.  
Чтоб судьбу отсрочить злую,  
Помни, что тебе скажу я.  
Как увидишь добродетель,  
Что сама себе свидетель,  
Что соблазна не встречает,  
Слабость ближних не прощает,  
Тут гадалку вспомни ты.  
Знай: нередко доброты,  
Кротости, смиренья вид  
Похоть с гордостью таит.  
Я с тобой прощусь теперь  
Со слезами, но поверь,  
Что кручиниться не надо.  
За страданья ждет награда,  
И в блаженстве бесконечном  
Пребывать ты будешь вечно.

Договорив, цыганка закружилась и, трижды повернувшись, с видом отчаяния убежала. Толпа последовала за ней, и Леонелла смогла войти в дом, досадуя на цыганку, на племянницу и на зевак — короче говоря, на всех, кроме себя и своего пленительного кавалера. Предсказание цыганки ввергло Антонию в трепет, однако мало-помалу впечатление это стерлось, и через несколько часов она забыла о случившемся, словно его никогда не было.

## ГЛАВА II

*Forse sé tu gustassi una sòl volta  
La millésima parte délie giòje,  
Ché gusta un cór amato riamando,  
Diresti repentita sospirando,  
Perduto è tutto il tempo  
Chè in amar non si spènde.*

Tasso<sup>1</sup>

Монахи проводили настоятеля до двери его кельи, где он отпустил их с видом превосходства, в котором нарочитое смирение вело борьбу с подлинной гордыней. Едва он остался один, как дал волю тщеславию. Он вспоминал бурю восторгов, которую вызвала его проповедь, и его сердце преисполнилось радости, а воображение уже рисовало великолепные картины будущего возвеличения. Он посмотрел вокруг себя с ликованием, и гордыня сказала ему громовым голосом, что он — выше всех прочих смертных. «Кто, — думал он, — кто, кроме меня, прошел через

---

<sup>1</sup> Едва вкусив блаженство то, что делят  
Любимое и любящее сердце,  
Ты вздохами раскаянья докажешь,  
Что правду говоришь, когда ты скажешь:  
«Потеряны вотще часы,  
Что у любви я отнял».

Тассо

испытания юности и ничем не запятнал свою совесть? Кто еще смирил разгул бурных страстей и неистовство нрава, чтобы на светлой заре жизни добровольно затвориться от мира? Тщетно ишу я такого человека. Ни у кого, кроме себя, не вижу подобной решимости. Церковь не может похвастать другим Амбросио! Как поразила моя проповедь мирян! Как они толпились вокруг меня, вопия, что я — единственный Столп Церкви, не тронутый порчей? Что же еще остается мне сделать? Ничего — и только с тем же строгим тщанием следить за поведением монастырской братии, как я следил за своим собственным. Но погоди! Что, если соблазн сведет меня с путей, коим до сих пор я следовал неукоснительно? Или я не человек, чья природа слаба и склонна к заблуждениям? Ведь мне придется теперь покинуть свой уединенный приют. Красивейшие и благороднейшие дамы Мадрида что ни день приезжают в аббатство и желают исповедоваться только у меня. Я должен приучить свои взоры к соблазнам и подвергнуть себя искушению роскошью и желанием. Что, если я встречу в миру, в который должен вступить, прекрасную женщину... прекрасную, как ты, Мадонна!..»

При этой мысли глаза его обратились к висевшему напротив него изображению Богородицы — уже два года образ сей был предметом его возрастающего восторга и поклонения. Несколько минут взирал он на святой лик с восхищением, а потом произнес:

— Какая несравненная красота! Как грациозен поворот головы! Какая нежность, но и какое величие в ее божественных глазах! Как изящно склоняется на руку ее щека! Способна ли роза соперничать с румянцем этой щеки? Может ли лилия сравняться белоснежностью с этой рукой? О, если бы такое создание существовало в этой юдоли и существовало лишь для меня одного! О, будь мне дано навивать на пальцы эти золотые локоны и принимать губами к сокровищам этой лилейной груди! Мило-

стивый Боже, сумел бы я устоять перед искушением? Не променял бы за единое объятие награду за тридцатилетние муки? Не покинул бы я... Глупец! Куда позволил ты увлечь себя восхищению перед этой картиной? Прочь нечистые мысли! Я должен помнить, что эта женщина навеки потеряна для меня. Нет и не может быть смертной, столь совершенной, как этот образ. Но и явись такая, соблазн, перед которым не устоит простой смертный, окажется бессильным перед Амбросио. Соблазн, сказал я? Для меня тут не будет соблазна. Та, что чарует меня как идеал, как высшее существо, внушит мне отвращение, если окажется женщиной, запятнанной всеми недостатками, присущими смертным. Я восхищен искусством художника, я поклоняюсь Божественности. Или страсти не умерли в моей груди? Или я не освободился от человеческих слабостей? Не страшись, Амбросио! Черпай уверенность в силе твоей добродетельности. Смело вступи в суетный мир, ты выше его приманок! Вспомни, что теперь ты свободен от пороков рода людского, неуязвим для козней духов тьмы. Они узнают, кто ты таков!

Тут его раздумья прервали три тихих удара в дверь кельи. С трудом аббат очнулся от горячечных мыслей. Стук раздался снова.

— Кто там? — спросил наконец аббат.

— Всего лишь Росарио, — ответил кроткий голос.

— Войди! Войди, сын мой!

Дверь тотчас открылась, и вошел Росарио с корзинкой в руке.

Росарио был юным монастырским послушником и через три месяца намеревался принять постриг. Некая тайна окружала этого юношу, и он вызывал у братии немалый интерес и любопытство. Его ненависть к обществу, его глубокая меланхолия, строжайшее соблюдение всех правил ордена и добровольный отказ от мира, столь необычные в его лета, привлекли к нему внимание всех

обитателей монастыря. Казалось, он боится, что его могут узнать, и никто ни разу не видел его лица. Капюшон его всегда был низко опущен. Однако те его черты, которые позволяла увидеть случайность, поражали красотой и благородством. В монастыре его знали только как Росарио. Никто не ведал, откуда он прибыл туда, а на расспросы он отвечал глубоким молчанием. Незнакомый, чьи пышные одежды и великолепный экипаж указывали на богатство и знатность, попросил монахов принять нового послушника и внес положенный вклад. На следующий день он вернулся с Росарио, но больше в монастыре его не видели.

Юноша старательно избегал общества монахов, на их добрые слова отвечал с тихой кротостью, но ясно показывал, что его влечет уединение. Из этого правила единственным исключением был настоятель. На него Росарио взирал с благоговением, близким к обожанию. Его общества он искал с настойчивостью и усердно старался снизить его расположение. В обществе аббата меланхолия, казалось, покидала его сердце, веселость проникала в его речи и поведение. Амбросио со своей стороны также испытывал приязнь к юноше. Только с ним он смягчал свою обычную суровость. Обращаясь к нему, он, сам того не замечая, менял свой строгий тон на ласковый, и ничей голос не был ему так мил. Услуги юноши он вознаграждал, наставляя его в науках. Послушник был старательным учеником, и Амбросио с каждым днем все более пленялся живостью его гения, бесхитростностью манер и чистотою сердца. Короче говоря, он полюбил его с отцовской нежностью. Иногда он невольно испытывал желание увидеть лицо своего ученика. Но запрет, наложенный им на суетные чувства, не допускал любопытства, а потому он не мог высказать юноше это желание.

— Простите, отче, что я потревожил ваш покой, — сказал Росарио, ставя корзинку на стол, — но я прихожу к вам просителем. Мне стало ведомо, что один мой друг опасно

болен, и я смиренно прошу вас помолиться о его выздоровлении. Если Небеса могут внять мольбе и пока не призывать его, то, конечно, ваше ходатайство будет услышано.

— Ты знаешь, сын мой, что можешь просить меня обо всем, что в моих силах. Как зовут твоего друга?

— Винченцо делла Ронда.

— Достаточно. Я не забуду его в моих молитвах, и да услышит меня наш трижды благословенный святой Франциск! А что у тебя в корзинке, Росарио?

— Цветы, преподобный отец. Те, что, как я заметил, вам угодны. Вы позволите мне убрать ими вашу келью?

— Твоя заботливость чарует меня, сын мой.

Пока Росарио распределял содержимое корзинки по вазочкам, которые были расставлены по всей келье, аббат продолжил разговор:

— Нынче вечером я не видел тебя в церкви, Росарио.

— Но я был там, отче. Моя благодарность за ваши милости так велика, что я не мог не стать свидетелем вашего торжества.

— Увы, Росарио, для торжества у меня нет причин: моими устами говорил наш святой, и вся заслуга принадлежит ему. Но, значит, моя проповедь не оставила тебя недовольным?

— Недовольным? Отче, вы превзошли себя! Никогда я не слышал такого пламенного красноречия... кроме одного раза.

Тут послушник вздохнул.

— Какого же? — настойчиво спросил аббат.

— Когда вы проповедовали, заменив нашего покойного настоятеля, потому что его сразил внезапный недуг.

— Я помню тот случай. Было это более двух лет назад. И ты меня слышал? Но тогда я еще не знал тебя, Росарио.

— Правда, отче. И Богом клянусь, я предпочел бы не дожить до того дня. Каких мук, какой печали я избежал бы!

— Муки в твои лета, Росарио?

— Да, отче. Муки, которые, будь они вам ведомы, пробудили бы в вас равно и гнев, и сострадание. Муки, которые стали терзанием и радостью моей жизни! Однако в этой обители моя грудь обрела бы покой, если бы не пытка опасениями! Боже! Боже! Как тяжка жизнь в вечном страхе! Отче! Я отринул все, навеки оставил свет и его радости. Не осталось ничего. И ничто не манит меня, кроме вашей дружбы, вашей приязни. Если я лишусь их, отче... Если я лишусь их, вы содрогнетесь перед силой моего отчаяния!

— Ты опасаясь потерять мою дружбу? Чем твое поведение оправдывает подобный страх? Ты должен знать меня лучше, Росарио, и считать достойным твоего доверия. В чем твои муки? Открой мне и верь, если в моей власти облегчить их...

— О, это в вашей власти, и только в вашей! Но открыть их вам я не могу. Вы отринете меня после моего признания! Вы прогоните меня с презрением и отвращением.

— Сын мой, я заклинаю тебя! Я молю тебя!

— Во имя милосердия не спрашивайте более! Я не должен... я не смею... О! Колокол звонит к вечерне! Отче, благословите, и я удалюсь!

С этими словами послушник упал на колени и получил благословение, о котором просил. Затем он прижал руку аббата к губам, поднялся и поспешно покинул келью. А вскоре и Амбросио спустился в часовню аббатства, где служили вечерню, все еще дивясь странному поведению юного послушника.

Вечерня кончилась, и монахи разошлись по своим кельям. Аббат остался в часовне один в ожидании монахинь монастыря Святой Клары. Едва он опустился в кресло исповедника, как вошла настоятельница. Он выслушивал исповедь каждой монахини, пока остальные ждали под присмотром матери настоятельницы в сопредельной ризнице. Амбросио слушал со вниманием, не скупился на назидания, накладывал епитимьи, соразмерные проступ-

кам, и все шло заведенным порядком, пока одна монахиня, отличавшаяся благородством облика и грациозностью фигуры, вдруг нечаянно не уронила скрытое на груди письмо. Она уже повернулась, чтобы выйти в ризницу, не подозревая о потере. Амбросио, полагая, что это письмо от какой-нибудь родственницы, поднял его, чтобы вернуть его ей.

— Погоди, дочь моя! — сказал он. — Ты уронила...

Но тут его взор невзначай упал на первую строку уже развернутого письма, и он вздрогнул от изумления. Монахиня обернулась на его голос, увидела записку в его руке и, вскрикнув от ужаса, поспешила назад, чтобы взять ее.

— Остановись! — произнес монах суровым тоном. — Дочь моя, я должен прочесть, что здесь написано.

— Тогда я погибла! — вскричала она, в отчаянье заламывая руки. Краска внезапно сбежала с ее лица, она трепетала в смятении и вынуждена была обвить руками колонну, чтобы не рухнуть на пол. Аббат тем временем читал следующие строки:

«Все готово для твоего бегства, возлюбленная Агнеса. Завтра в полночь я буду ждать тебя у садовой калитки. Я раздобыл ключ, и через несколько часов ты будешь в безопасном убежище. Не отвергай из-за ошибочных угрызений верного средства спасения и своего, и невинного создания, которое ты носишь под сердцем. Помни, что ты поклялась стать моей задолго до того, как обещала себя Церкви, что вскоре твое положение станет явным для шарящих взглядов тех, кто тебя окружает, и что бегство — единственное средство избежать их злобы. До свидания, Агнеса, моя возлюбленная, суженная мне жена! Будь у садовой калитки в полночь!»

Едва дочитав, Амбросио обратил суровый, исполненный гнева взгляд на неосторожную монахиню.

— Письмо это должна увидеть настоятельница, — сказал он и направился к двери.

Его слова поразили ее слух как удар грома, она очнулась от растерянности и поняла весь ужас того, что произошло. Кинувшись за ним, она удержала его за край одежды.

— Остановитесь, о, остановитесь! — вскричала она с отчаянием и, распростершись у ног монаха, оросила их слезами. — Святой отец, имейте сострадание к моей юности. Взгляните снисходительно на женскую слабость и снизойдите скрыть мой грех! Все оставшиеся мне дни я посвящу искуплению этого единственного моего проступка, и ваше милосердие вернет Небесам заблудшую душу!

— Поразительная дерзость! Как? Монастырь Святой Клары станет прибежищем распутниц? И я допущу, чтобы Церковь Христова укрывала на груди своей разврат и мерзость? Недостойная тварь! Такое милосердие сделает меня твоим сообщником. Снисходительность тут преступна. Ты предалась сластолюбию соблазнителя, в нечистоте своей ты загрязнила святое одеяние и смеешь думать, что ты достойна моего сострадания? Прочь, не дерзай долее меня задерживать! Где мать настоятельница? — добавил он, повышая голос.

— Постой, святой отец! Помедли и выслушай меня. Не упрекай меня в нечистоте и не думай, что я согрешила, поддавшись сладострастью. Задолго до того, как я постриглась, Раймонд владел моим сердцем, он внушил мне самую чистую, самую безупречную любовь и должен был стать моим мужем перед Богом и людьми. Страшный случай и гонения родственников разлучили нас. Я полагала, что разлучена с ним навеки, и горечь привела меня в стены монастыря. Судьба вновь свела нас, и я не могла отказать себе в печальной сладости смешать мои слезы с его слезами. Мы еженощно встречались в монастырском саду, и в миг забвения я нарушила обет целомудрия. И скоро должна стать матерью. Преподобный Амбросио,

сжался над невинным созданием, чье существование пока слито с моим. Если ты откроешь мою опрометчивость матери настоятельнице, мы оба обречены на гибель. Правила ордена Святой Клары предписывают карать таких, как я, несчастных с величайшей суровостью и жестокостью. Достоянейший, достоянейший пастырь, да не сделает тебя твоя собственная незапятнанная совесть глухим к тем, у кого меньше сил противостоять соблазну! Да не станет милосердие единственной добродетелью, чуждой твоему сердцу! Сжался надо мной, святой отец! Отдай мне письмо, не обрекай меня на верную погибель.

— Твоя дерзость поражает меня! Неужто я сокрою твое преступление — я, кого ты обманула лживой исповедью? Нет, дочь, нет! Я окажу тебе подлинную услугу. Я спасу тебя от вечной гибели вопреки тебе самой. Покаяние и умерщвление плоти искупят твой грех, и строгость вернет тебя на пути святости. Э-эй! Мать Агата!

— Отец! Всем, что свято, всем, что вам дорого, я заклиная, я молю...

— Прочь руки! Я не стану тебя слушать. Где настоятельница? Мать Агата, где ты?

Дверь ризницы отворилась, и в часовню вступила настоятельница с монахинями.

— Жестоко! Жестоко! — вскричала Агнеса, разжимая руки.

В исступлении отчаяния она, упав на пол, била себя в грудь и в беспамятстве рвала покрывало. Монахини взирали на нее с боязливym изумлением. Аббат отдал письмо настоятельнице, объяснил, как оно попало к нему, и добавил, что решить, какой кары заслуживает виновная, должна она.

Настоятельница читала письмо, и ее лицо все больше багровело от гнева. Как! Такое преступление совершалось в ее обители и стало известно Амбросио, кумиру Мадрида, человеку, которого она особенно хотела уверить в стро-

гости и благочестии своей обители! Слова не могли выразить ее ярость. Она молчала, бросая на распростертую монахиню злобные и угрожающие взгляды.

— Отведите ее в монастырь! — наконец приказала она своим приближенным.

Две пожилые монахини подошли к Агнесе, насильно подняли ее с пола и потащили к выходу из часовни.

— Как! — вдруг вскричала она и безумным усилием вырвалась из их рук. — Ужели нет более надежды? И вы влечете меня подвергнуть незамедлительной каре? Где ты, Раймонд? О, спаси меня, спаси! — Тут она бросила испуганный взгляд на аббата. — Слушай! — продолжала она. — Слушай, человек с каменным сердцем. Слушай, надменный, беспощадный и жестокий! Ты мог бы спасти меня, ты мог бы возратить меня счастьем и добродетели, но не пожелал! Ты погубитель моей души, ты мой убийца, и на тебя падет проклятие моей смерти и смерти моего нерожденного ребенка! Исполненный гордыни, ты в своей пока еще не запятнанной добродетели остался глух к мольбам кающейся. Но Господь явит милосердие, в котором ты мне отказал. А в чем достоинство твоей хваленой добродетели? Какие искушения ты преодолел? Трус! Ты бежал от соблазнов, а не противостоял им! Но день испытания наступит! О! И вот тогда, когда ты уступишь необоримым страстям, когда ты почувствуешь, что человек слаб и рожден заблуждаться, когда, содрогаясь, ты оглянешься на свои преступления и в ужасе будешь просить Бога о милосердии, о, в ту грозную минуту вспомни обо мне! Вспомни о своей жестокости! Вспомни Агнесу и отчайся получить прощение!

При этих последних словах силы оставили ее, и она в беспомощности упала на руки стоявшей рядом монахини. Ее тотчас унесли из часовни, и остальные последовали за ней.

Амбро시오 выслушал ее упреки не с полным равнодушием. Сердце у него сжалось, и он почувствовал, что

обошелся с несчастной слишком уж сурово. Поэтому он задержал настоятельницу и попробовал вступить за виновную.

— Бурность ее отчаяния, — сказал он, — доказывает, что порок не стал для нее привычным. Быть может, обойдась с ней не столь строго, как положено, и несколько смягчив кару...

— Смягчив, отче? — перебила настоятельница. — Только не я, поверьте! Устав нашего ордена строг и суров, но долгое время некоторые правила оставались в небрежении, и преступление Агнесы показало мне, сколь необходимо неукоснительное их соблюдение. Я возвращаюсь к себе в обитель объявить о своем намерении, и Агнеса первой почувствует, что значит нарушать эти установления, кои будут выполнены во всей полноте. Прощайте, отче.

С этими словами она поспешила вон из часовни.

«Я исполнил свой долг», — подумал Амбросио, но мысль эта не вернула ему покой души. Чтобы отвлечься от тягостного впечатления, которое все случившееся произвело на него, он вышел из часовни и повернул на дорожку, ведущую к саду аббатства. Во всем Мадриде не нашлось бы другого столь прекрасного и столь ухоженного сада. Разбит он был с изящнейшим вкусом. Великолепные цветы ласкали взор разнообразием красок, и, хотя сажались они по тщательно обдуманному плану, казалось, будто так их расположила рука природы. Из мраморных чаш били фонтаны, охлаждая воздух танцующими брызгами, а ограду густо увили жасмин, виноград и жимолость. Красоту эту удваивал прозрачный сумрак, окутывавший сад. В безоблачном небе плыла полная луна, одевая деревья трепетным сиянием, в серебряных лучах струи фонтанов рассыпались жемчужинами. Легкий зephyр оведал аллеи благоуханием цветущих померанцев, а над искусственной чашей лилась песня соловья. Туда и направил аббат свои стопы.

В глубине этой рощицы прятался незатейливый грот, подобие пещеры отшельника. Стены были оплетены древесными корнями, а просветы между ними закрывали мох и плющ. Справа и слева находились две сложенные из дерна скамьи, со скалы естественным каскадом ниспадал ручеек. Все в той же задумчивости монах приблизился к гроту. Разлитое вокруг безмятежное спокойствие утишило его волнение, а вечерняя нега проникла в самое его сердце.

Он уже собрался войти в грот и отдохнуть там, как вдруг заметил, что на одной из скамей распростерся человек в позе неизбежной меланхолии. Голову он подпирает рукой и был словно погружен в глубочайшие размышления. Монах сделал шаг к нему и узнал Росарио. Остановившись у порога, он молча смотрел на юношу. Несколько минут спустя тот поднял глаза и печально устремил их на стену напротив.

— Да! — сказал он с глубоким жалобным вздохом. — Я вижу, сколь счастлив твой жребий и сколь горестен мой! Мысли я подобно тебе, какое счастье было бы мне даровано! Когда б судьба сподобила меня глядеть на род людской с отвращением и скрыться в безлюдной глуши, забыв, что в мире есть те, кто достоин любви! О Боже! Сколь сладостным даром была бы для меня мизантропия!

— Какая странная мысль, Росарио! — сказал настоятель и вошел в грот.

— Вы здесь, святой отец? — вскричал послушник.

И, в смятении вскочив со скамьи, торопливо опустил капюшон на лицо. Амбросио расположился на дерновой скамье и усадил юношу подле себя.

— Негоже пестовать в сердце склонность к меланхолии, — сказал он. — Что могло представить тебе в столь благоприятном свете мизантропию, самое мерзкое из чувств?

— Чтение вот этих стихов, отче, коих до сих пор я не замечал. Яркость лунного света позволила мне разобрать строки, и — о! — как я завидую писавшему их!

И он указал на мраморную плиту, вделанную в противоположную стену. Насечены на ней были следующие строфы:

#### НАДПИСЬ В ПРИЮТЕ ОТШЕЛЬНИКА

Ты, что читаешь надпись эту,  
Узнай, не совести мученья  
Меня навек подвигли свету  
    «Прости» сказать.  
И в пúстыни уединенья  
    В тоске искать.

Мир бросил я по доброй воле:  
Гордыне, злобе, плотской страсти  
И знать, и чернь все боле, боле  
    Там преданы.  
Увидел торжество я власти  
    Сил Сатаны.

Червем сердца там зависть гложет,  
Там люди все — рабы порока,  
    Там лишь безумец верить может  
    Любви и чести.  
Ждать смертного не стал я срока  
    Там с ними вместе.

Мне меланхолия, веселье  
И все соблазны жизни прежней  
Равно чужды. В подземной келье  
    Дни провожу,  
Молясь, трудясь — и безмятежней  
    На мир гляжу.

Не роскошь, а покой и вера,  
 Иного сердце и не хочет.  
 Мне тесная моя пещера  
     Милей дворца.  
 Лишь об одном я дни и ночи  
     Молю Творца:  
 «Дай в чистоте мне жить безгрешно,

Страстями душу не пятная,  
 Над искушеньями успешно  
     Брать верх в борьбе.  
 И дай сказать мне, умирая:  
     Иду к Тебе!»

Коль юн ты, путник, и сомненьем  
 Не удручен еще, прочтешь ты  
 С беспечным смехом и презреньем  
     Мою мольбу.  
 Но если в горести клянешь ты  
     Свою судьбу,

Иль ты познал любви мученья,  
 Иль милости не чаешь в Небе,  
 Иль тяготят тебя гоненья  
     Судьбины злой,  
 О, как тебе завиден жребий  
     Быть должен мой!

— Если бы человек и вправду мог быть настолько поглощен собой, — сказал монах, — что жил бы в полном уединении и все же испытывал безмятежное спокойствие, коим полны эти строки, я согласился бы, что такая жизнь предпочтительнее суеты мира, полного порока и всяческих безумств. Но, увы, подобное недостижимо. Надпись эту начертали здесь просто для украшения, и чувства, ее преисполняющие, столь же воображаемы, как и сам отшельник. Человек рожден для общества. Как ни далек он от мира, он не способен совсем его забыть, а быть

забытым миром для него не менее невыносимо. Исполняя отвращения к греховности и глупости рода людского, мизантроп бежит его. Он решает стать отшельником и погребает себя в пещере на склоне какой-нибудь мрачной горы. Пока ненависть жжет ему грудь, возможно, он находит удовлетворение в своем одиночестве, но когда страсти охладятся, когда время смягчит его печали и исцелит старые раны, думаешь ли ты, что спутницей его станет безмятежная радость? Нет, Росарио, о нет! Более не укрепляемый силой своих страстей, он начинает сознавать однообразие своего существования, и сердце его преисполняется тягостной скукой. Он смотрит вокруг себя и убеждается, что остался совсем один во вселенной. Любовь к обществу воскресает в его груди, он тоскует по миру, который покинул. Природа утрачивает в его глазах все свое очарование. Ведь ему указать на ее красоты некому, никто не разделяет с ним восхищения перед ее прелестями и разнообразием. Опустившись на обломок скалы, он созерцает водопад рассеянным взором. Он равнодушно смотрит на великолепие заходящего солнца. Вечером он медлит с возвращением в свою келью, ибо никто не ожидает его там. Одинокая невкусная трапеза не доставляет ему удовольствия. Он бросается на постель из мха унылый и расстроенный, а просыпается для того лишь, чтобы провести день, такой же безрадостный и однообразный, как предыдущий.

— Вы изумляете меня, отче! Предположим, обстоятельства обрекли бы вас на одиночество, так неужели религиозные обязанности и мысль о праведно прожитой жизни не преисполнили бы ваше сердце той безмятежностью, коей...

— Я обманывал бы себя, полагая, будто они послужили бы мне утешением. Я убежден в обратном, а также в том, что моя стойкость навряд ли уберегла бы меня от горького разочарования и меланхолии. Знал бы ты, какое удоволь-

ствие я, проведя день в занятиях, получаю, выходя вечером к братии! Я не в силах описать тебе радость, доставляемую мне видом человеческого лица! Вот в этом, мнится мне, и заключен главный смысл учреждения монастырей. Монастырь оберегает человека от соблазнов порока, дает ему досуг, необходимый для достойного служения Всевышнему, избавляет от тягостной необходимости наблюдать, как грешат поклонники суетности, и в то же время не мешает наслаждаться обществом себе подобных. А ты, Росарио, завидуешь ли ты жизни отшельника? Ужели ты слеп к преимуществам своего нынешнего положения? Поразмысли! Аббатство это стало твоим прибежищем; твоё усердие, твоя кротость, твои таланты снискали тебе всеобщее уважение. Ты укрыт от мира, по твоим словам, тебе ненавистного, и тем не менее тебе доступны все блага, даримые обществом, да притом обществом, состоящим из достойнейших людей.

— Отче! Отче! В том-то и источник моих мук! Мне было бы счастьем, если бы моя жизнь влачилась среди порочных и нераскаянных! О, если бы я не знал даже слова «добродетель»! Ведь как раз мое безграничное благоговение перед религией, безмерная чувствительность моей души к красоте всего высокого и благого — как раз они преисполняют меня стыдом, влекут к гибели! О, если бы я никогда не видел этого монастыря!

— Как так, Росарио? В последнем нашем разговоре ты говорил иное. Или моя дружба утратила цену? Если бы ты никогда не видел этого монастыря, то и меня ты не увидел бы. Разве ты этого желаешь?

— Никогда не увидел бы вас? — повторил послушник, стремительно поднявшись со скамьи и с видом отчаяния схватывая руку монаха. — Вас? Вас? Клянусь Богом, лучше бы молния выжгла мои глаза до того, как они увидели вас! Клянусь Богом, лучше бы мне больше никогда вас не видеть и забыть, что я вас видел!

С этими словами Росарио выбежал из грота. Амбросио же остался сидеть на скамье, дивясь странному поведению юноши. Он был склонен заподозрить умопомешательство, однако вся его манера держаться, связность мыслей и спокойствие до мгновения, когда он покинул грот, казалось, опровергали такое заключение. Несколько минут спустя Росарио вернулся. Он вновь опустился на скамью, подпер голову одной рукой, а другой утирал слезы, стекавшие по щекам.

Монах глядел на него с состраданием и не мешал его мыслям. Некоторое время оба хранили глубокое молчание. Соловей теперь перелетел на померанец, осенявший грот, и рассыпал над ним мелодичные трели, исполненные печали. Росарио поднял голову, внимая его песне.

— Вот так, — сказал он с глубоким вздохом, — вот так моя сестра в последний месяц своей злосчастной жизни сидела и слушала соловья. Бедная Матильда! Она спит в могиле, и ее разбитое сердце уже не бьется любовью!

— У тебя была сестра?

— Вы сказали верно: была! Увы, сестры у меня больше нет. В расцвете своей весны она не снесла гнета горестей.

— Каких же?

— В вас они жалости не пробудят. Вам неведома власть тех неотразимых, тех роковых чувств, жертвой которых было ее сердце. Отче, ее несчастьем стала любовь. Обожание человека, наделенного всеми добродетелями, доступными смертному, а вернее было бы сказать — божества, стало ее проклятием. Его благородный облик, его безупречная слава, его многочисленные достоинства, его мудрость, глубокая, дивная, несравненная, могли бы воспламенить самую бесчувственную душу! Моя сестра увидела его и осмелилась полюбить, хотя не дерзала питать даже тени надежды...

— Но если она отдала любовь столь оправданно, почему же ей нельзя было надеяться на взаимность?

— Отче, до знакомства с ней Юлиан уже поклялся в верности невесте, невыразимо прекрасной, истинно небесной! И все же моя сестра полюбила и во имя мужа возлюбила и его супругу. Она сумела ускользнуть из дома нашего отца и в скромной вдовой одежде попросила места служанки у жены того, кому отдала сердце, и ее взяли. Теперь она постоянно видела его и старалась всячески угождать ему. Ее старания не остались бесплодными. Юлиан обратил на нее внимание. Добродетельные люди умеют быть благодарными, и он отличал Матильду среди прочей прислуги.

— Но разве ваши родители не пытались ее разыскивать? Ужели они безропотно смирились со своей потерей и не тщились вернуть пропавшую дочь?

— Прежде чем они преуспели в поисках, она возвратилась сама. Любовь ее достигла такой силы, что она уже не могла ее скрывать. Однако у нее и мысли не было назвать Юлиана своим, она жаждала лишь обрести место в его сердце, и в минуту неосторожности она призналась в своем чувстве. И каков же был результат? Обожая жену, веря, что взгляд жалости, обращенный на другую, это кража того, что принадлежит ей, он прогнал Матильду и запретил ей являться ему на глаза. Его суровость разбила ей сердце, она вернулась к отцу, и несколько месяцев спустя мы отнесли ее на кладбище!

— Несчастливая девушка! Судьба ее была непомерно тяжкой, а Юлиан чрезмерно жесток.

— Вы так думаете, отче? — с живостью воскликнул послушник. — Вы думаете, что он был жесток?

— Да, я так думаю и всем сердцем жалею ее.

— Вы жалеете ее? Вы жалеете ее? Ах, отче! Отче! Так сжальтесь и надо мной!

Монах недоуменно посмотрел на послушника, и тот, помолчав, запинаясь, продолжал:

— Ибо мои страдания даже сильнее, чем ее. У моей сестры была подруга, истинная подруга, сострадавшая бурности ее чувств, не упрекавшая ее за неспособность сдерживать их. А у меня... у меня нет друга. Во всем широком мире не найдется сердца, чтобы разделить мою печаль!

Произнеся эти слова, он зарыдал. Монах был тронут. Он взял руку Росарио и нежно ее пожал.

— Ты говоришь, что у тебя нет друга? Но в таком случае кто же я? Почему ты не доверишься мне, чего ты боишься? Моей строгости? Но был ли я хоть раз строг с тобой? Моих одежд? Росарио, я не монах пока, но твой друг, твой отец. И я могу назваться так, ибо ни один родитель не оберегал свое дитя с большей нежностью, нежели я тебя. Едва тебя увидев, я ощутил в груди чувство, дотоле мне неизвестное. В твоём обществе я находил приятность, какую ничье другое мне не доставляло, а когда я убеждался в силе твоего гения и обширности знаний, то радовался, как радуется отец успехам сына. Так отбрось же страхи, говори со мной откровенно, Росарио, и скажи, что доверишься мне. Если моя помощь или жалость могут облегчить твою печаль...

— Твои могут! Только твои! Ах, отче, с какой охотой я открыл бы тебе свое сердце! С какой охотой признался бы в тайне, гнетущей меня. Но я страшусь! О, как я страшусь!

— Чего, сын мой?

— Что вы отринете меня за мою слабость, что наградой за мое доверие будет потеря ваших добрых чувств ко мне.

— Как мне тебя разуверить? Подумай о всем прошлом моем поведении с тобой, об отеческой привязанности, которую я тебе всегда выказывал. Отринуть тебя, Росарио? Это более не в моей власти. Лишиться твоего общества — значит утратить величайшее удовольствие в моей жизни. Так открой мне, что тебя гнетет, и поверь, когда я торжественно поклянусь...

— Остановитесь! — прервал послушник его речь. — Дайте клятву, что, в чем бы ни заключалась моя тайна, вы не понудите меня оставить монастырь, пока не истечет срок моего послушничества.

— Обещаю. И сдержу клятву, данную тебе, как да исполнит Христос обещанное роду человеческому. Ну, а теперь открой эту тайну и положишься на мою снисходительность.

— Я повинуюсь. Так знайте же... О, как я трепещу произнести это слово! Выслушайте меня с жалостью, высокочтимый Амбросио! Отыщите в себе все еще тлеющие искорки человеческой слабости, чтобы они научили вас состраданию к моей! Отче! — продолжал он, бросаясь к ногам монаха и прижимая его руку к губам, не в силах от волнения совладать со своим голосом. — Отче, — повторил он, запинаясь, — я женщина!

Аббат вздрогнул от столь неожиданного признания. Ложный Росарио лежал распростертый на земле, точно ожидая в молчании приговора судьи. Изумление одного, страх другой на несколько минут заставили их окаменеть, точно к ним прикоснулся жезл волшебника. Наконец, оправившись от замешательства, монах покинул грот и торопливым шагом направился к выходу из сада. Его движение не укрылось от молящей. Она вскочила и, поспешив за ним, обогнала и упала перед ним, обняв его колени. Амбросио тщетно пытался освободиться от ее рук.

— Не беги от меня! — вскричала она. — Не покидай меня на волю отчаяния! Выслушай оправдания моего неразумия, узнай, что история моей сестры — это моя история. Я Матильда, а ты — ее возлюбленный!

Как ни ошеломило Амбросио ее первое признание, второе поразило его даже еще больше. Потрясенный, смущенный, растерянный, он не мог выговорить ни слова и стоял, молча глядя на Матильду. Она воспользовалась этим, чтобы продолжить свои объяснения.

— Не думай, Амбросио, что я явилась отнять твою любовь у твоей невесты. Нет, поверь мне! Лишь Церковь достойна тебя, и Матильда даже помыслить не смеет о том, чтобы помешать тебе следовать путем добродетели. Чувство, которое я питаю к тебе, это любовь, а не сладострастие. Я вздыхаю о месте в твоём сердце, а не томлюсь от жажды разделить с тобой наслаждение. Снизойди выслушать мои оправдания. Несколько мгновений — и ты убедишься, что мое присутствие не осквернило это святое место и что ты можешь подарить мне свое сострадание, не нарушив свои обеты... — Она села, и Амбросио, не замечая, что делает, последовал ее примеру. Она же сказала:

— Я происхожу из знатной семьи: мой отец принадлежал к благородному дому Вильянегас. Он скончался еще в дни моего младенчества и оставил меня единственной наследницей всех своих несметных богатств. Ко мне, молодой, богатой, сватались знатнейшие юноши Мадрида, но ни одному из них не удалось завоевать мое сердце. Я росла под опекой дяди, человека весьма мудрого и очень ученого. Ему доставляло удовольствие приобщать меня к своим познаниям. Его наставления помогли моему уму обрести способность к большей глубине и верности суждений, чем обычно свойственно моему полу. Умение моего наставника и моя природная любознательность помогли мне значительно продвинуться не только в науках, которые изучаются всеми, но и в тех, которые доступны лишь немногим, ибо слепое суеверие осуждает их. Но, расширяя сферу моих знаний, мой опекун тщательно прививал мне нравственные понятия. Он избавил меня от оков вульгарных предрассудков, открыл мне красоту Веры, научил преклоняться перед чистыми и добродетельными, а я — горе мне! — слишком хорошо усвоила его уроки.

Так суди сам, могла ли я взирать иначе, как с отвращением, на порочность, распушенность и невежество,

кои пятнают нашу испанскую молодежь. Я отвергала все предложения с пренебрежением. Мое сердце оставалось без владыки, пока случайность не привела меня в церковь Капуцинов. О, конечно, в этот день мой ангел-хранитель дремал, забыв о своей овечке. В этот день я впервые увидела тебя. Ты замещал настоятеля, которому болезнь не позволила встать с одра. Ты не можешь не вспомнить, какой живой восторг вызвала твоя проповедь. О, как впивала я каждое твое слово! Как твое красноречие словно похищало меня у меня же самой! Я боялась дышать, чтобы не упустить хотя бы слога, и пока ты говорил, мне мнился блеск дивных лучей вокруг твоей головы, а твое лицо сияло божественным величием. Я вышла из церкви в экстазе. С этой минуты ты стал кумиром моего сердца, неизменным средоточием всех моих помыслов. Я расспрашивала о тебе, и все, что узнала о твоём образе жизни, учености, благочестии и строгости к себе, заклепало цепи, наложенные на меня твоим вдохновенным красноречием. Я обнаружила, что пустота в моем сердце заполнилась, что я нашла человека, которого так долго и тщетно искала. В надежде вновь тебя услышать я каждодневно посещала вашу церковь, но ты не покидал стен аббатства, и я удалялась в тоске и разочаровании. Ночь бывала добрее ко мне, ибо ты представал предо мною в моих сновидениях. Ты клялся мне в вечной дружбе, ты вел меня по путям добродетели и помогал мне переносить жизненные невзгоды. Утро рассеивало эти сладостные видения, я просыпалась и вспоминала, что нас разделяет стена, непреодолимая стена! Но это лишь усугубляло силу моего чувства, мной все более овладевали меланхолия и уныние, я бежала общества и чахла день ото дня. Наконец, не в силах долее сносить эту пытку, я решилась надеть личину, в которой ты меня узнал. Хитрость моя удалась, меня приняли в монастырь, и мне удалось завоевать твое расположение.

И я была бы счастлива вполне, если бы не постоянный страх разоблачения. Радость, приносимую мне твоим обществом, омрачала мысль, что, быть может, я скоро буду его лишена, и сердце мое так ликовало при малейшем свидетельстве твоей дружбы, что потерю ее, как я вскоре поняла, мне было не пережить. Поэтому я решила не ждать, когда случайность откроет мой пол, но признаться тебе во всем и воззвать к твоему милосердию и снисходительности. Ах, Амбросио, ужели я обманулась? Ужели ты не столь великодушен, чем я мнила тебя? О нет, я и помыслить не могу о таком. Ты не ввергнешь несчастную в пучину отчаяния, и мне по-прежнему будет дозволено видеть тебя, беседовать с тобой, нести тебе дань преклонения! Твои добродетели останутся примером мне до конца моих дней, а когда мы скончаемся, тела наши упокоятся в одной могиле!

Она умолкла. Пока длилась ее речь, в груди Амбросио боролась тысяча противоположных чувств. Изумление, рожденное неожиданностью, смущение при внезапном ее признании, негодование из-за дерзости, с которой она проникла в монастырь в одеянии послушника, сознание, что ему надлежит дать ей суровейшую отповедь, — вот чувства, которые он сознавал. Но к ним примешивались другие, и в них он не отдавал себе отчета. Он не замечал, как льстили его тщеславию хвалы, расточавшиеся его красноречию и добродетельности; не замечал тайной радости, вызванной мыслью, что молодая и, видимо, красивая девица ради него покинула свет и все иные свои привязанности принесла в жертву страсти к нему. И уж вовсе он не заметил, что сердце его воспламенялось желанием, когда белоснежные пальцы Матильды нежно пожимали его руку.

Мало-помалу он оправился от первого смятения. Мысли его упорядочились, и он ни на миг не усомнился, что разрешить Матильде остаться в монастыре после ее признания было бы неслыханным непотребством. Он принял строгий вид и вырвал у нее свою руку.

— Как, девица, — сказал он, — ужели ты и вправду уповаешь получить мое разрешение остаться с нами? Но даже исполни я твою просьбу, какая тебе была бы от этого польза? Не думаешь же ты, что я когда-либо отвечу взаимностью на привязанность, которая...

— Нет, отче, нет! Я и в мыслях не держу пробудить в тебе любовь, подобную моей. Я ищу только дозволения быть подле тебя, проводить несколько часов с тобой, обрести твое сострадание, дружбу, уважение. Так ли уж неразумна моя просьба?

— Подумай сама, девица! Подумай, сколь непристойно было бы мне приютить в монастыре женщину, да к тому же женщину, признавшуюся в любви ко мне. Это невозможно. Слишком велика опасность, что ты будешь избличена, да и я не хочу подвергать себя такому грозному искушению.

— Искушению, сказал ты? Но забудь, что я женщина, и я перестану ею быть. Считай меня только другом, злополучным существом, чье счастье, чья жизнь зависят от твоего покровительства. Не страшись, что я напомню тебе сама о том, как любовь, самая властная, самая беспредельная, понудила меня скрыть мой пол, не страшись, как бы я не поддавалась желаниям, несовместимым с твоими обетами и с моей честью, и не попробовала соблазном свести тебя с пути истинного. Нет, Амбросио, узнай меня лучше. Я люблю тебя за твои добродетели. Лишись их — и ты лишишься моей любви. Я вижу в тебе святого. Докажи мне, что ты лишь человек, и я с омерзением тебя оставлю. Меня ли ты считаешь искусительницей? Меня, в ком все мирские радости вызывали лишь пренебрежение? Меня, чья приязнь опирается на то, что ты свободен от человеческих слабостей? О, откинь оскорбительные опасения. Думай возвышенной обо мне, думай возвышеннее о себе. Я не способна соблазнить тебя, и уж конечно, твоя добродетельность устоит перед запретными желаниями. Ам-